

Историография, источниковедение, методы исторического исследования

ИСТОРИКИ ОБ ИСТОРИКАХ

Научное сообщество и его критики: старые обиды, новые разочарования и незавершенный поиск идентичности*

Социальный переворот конца XX в. привел к дестабилизации советского социума и радикальным изменениям в положении общественных наук и их представителей. Возник фундаментальный социальный запрос к научному сообществу на выработку методов адекватного научного познания прошлого, содержательного анализа российского исторического процесса в глобальной и национальной перспективе, его репрезентации в новых исторических условиях. Ответная реакция сообщества и тенденции его изменения стали предметом подробного изучения в двух новейших обобщающих трудах, выпущенных Ассоциацией исследователей российского общества (АИРО-XXI) под редакцией Г.А. Бордюгова. Данные труды отличает не только редкое стремление к системному изучению и критическому анализу проблем сообщества историков постсоветской России, но и попытка сформулировать определенные рекомендации по их преодолению. Поскольку, по мнению авторов, «выносить на форум обсуждение современного состояния науки академические издания избегают» (НС, с. 201), спешим исправить это упущение. Такое обсуждение, чтобы быть серьезным, предполагает определение метода и предмета исследования, выявление основных проблем сообщества и оценку основательности предложенных рекомендаций.

В отношении метода авторам, к сожалению, не удалось прийти к единству взглядов. В одних случаях они обоснованно определяют сущность методологических изменений последнего 20-летия как смену парадигм, в результате которой «вместо господствующей нарративной истории распространение получила когнитивная (познавательная, аналитическая) история», и отвергают постмодернизм, который «не оправдал надежд в исторической среде» в силу своего «тотального, всеохватывающего и всепроникающего релятивизма» (НС, с. 11). В других случаях они склоняются как раз к последнему, иронизируя по поводу объективности и доказательности исторического знания – «некоей объективной науки», само «существование которой для гуманитарного знания представляется недоказуемым» (ИИ, с. 551), выстраивают систему танцующих понятий, взятых напрокат из разновременных европейских концепций, и определяют «смысл» как продукт непротивления сторон или «консенсус дискурсов» (ИИ, с. 9). В третьих – пытаются разрешить методологические противоречия в рамках спорного утверждения о том, что «объективное знание может быть только результирующим вектором различных научных позиций» (НС, с. 65), что не исключает скрытой ностальгии по привычным марксистским подходам или сведения дела к журналистской формуле о конфликте академизма и критицизма (НС, с. 66).

В отношении определения предмета исследования, т.е. собственно «научного сообщества», эти трудности не менее выразительны, поскольку связаны с установлением точных границ и критериев обсуждаемого феномена. При подготовке книги ее авторы, по собственному признанию, «практически в один голос утверждали, что

* Научное сообщество историков России: 20 лет перемен. М.: АИРО-XXI, 2011. 519 с. (далее – НС); Исторические исследования в России. Пятнадцать лет спустя. М.: АИРО-XXI, 2011. 583 с. (далее – ИИ).

единого профессионального сообщества историков в России нет, можно говорить лишь о разрозненных его фрагментах в разных местах и с разными функциями» (НС, с. 7). Затем в основу был положен формальный критерий: принадлежность к сообществу была определена как функциональная принадлежность обладателей соответствующих дипломов – «лиц, которые трудятся в университетах и научных центрах, архивах и музеях, библиотеках и издательствах, или сотрудничают с ними, даже находясь на пенсии». В результате выяснилось, что сообщество не только существует, но и достаточно многочисленно, составляя около 40 тыс. человек (НС, с. 121).

Эта представительная профессиональная группа вызывает, однако, глубокое разочарование: она консервативна (что определяется быстрым «старением российской исторической науки»), брутальна (отмечается общее преобладание мужчин над женщинами), плохо организована (замкнута, иерархична и патерналистична), наконец, страдает полным отсутствием самоорганизации, ибо ее «корпоративная идентичность находится в зачаточном состоянии». Выводится даже идеальный портрет некоего среднего историка, который напоминает скорее какого-то функционера, – в стиле наивного утверждения одного из авторов, что «ныне официально историком, да и вообще ученым может считаться тот, чья кандидатура одобрена начальством» (НС, с. 334).

Понятно, что формальный подход при очерчивании границ сообщества историков вряд ли оправдан, если речь идет о науке, поскольку продуктивность исследований не коррелируется с численностью исследователей, а научные открытия не делаются по плану. Не случайно в дальнейшем, вопреки всем сделанным социологическим построениям, авторы вынуждены разделить представителей научного сообщества на две части – рутинную массу и «историков-фанатиков», которым дела нет до формальных ограничений, санкций и поощрений. Но если у авторского коллектива нет определенности в отношении предмета и метода, то что же составляет логическое и эмпирическое ядро исследования – настроения, мотивы, эмоции исследователей?

Родовая травма постсоветского научного сообщества справедливо усматривается авторами в деформациях советского периода, для которого были характерны «клановая замкнутость», «ритуализация исследовательского процесса», «поляризация научной жизни», связанная с перемещением ведущих ученых из университетов в академические институты, отделением науки от образования, подразделение историков на всеобщих и отечественных, подозрительность в отношении неформальных структур (НС, с. 9). Разгром классической дореволюционной науки большевиками и установление в советский период монополии на истину (поддерживавшейся идеологическими кампаниями, проработками, комиссиями и тому подобными методами, столь привлекательными для некоторых современных администраторов) привели к развитию конфликта идеологии и историографии, общему падению «престижа советского историознания» (НС, с. 55–57). В условиях демократического транзита произошел крах государственной монополии на занятие наукой, «возникла новая проблематика исследований, открылся доступ к ранее секретным архивам, кончилась цензура, наступило освобождение от партийности, сложились новые отношения внутри сообщества» (НС, с. 11).

Негативными следствиями данного процесса для сообщества стали, однако, не только понятная утрата доверия к официальной историографии, но и противопоставление профессиональному знанию «непрофессионального», «массового», а в конечном счете – сомнения в «объективности» и научности исторического познания в целом (НС, с. 66). Возможно, поэтому авторы труда об «исторических исследованиях в России» говорят не столько о содержательной научной стороне этих исследований, сколько о соотношении науки и массового сознания в восприятии таких конфликтных тем, как революции, гражданские и мировые войны, сталинизм и крушение советского строя. В этом контексте значительное место отводится процессам в сфере массового сознания, которые, собственно, не имеют к науке прямого отношения: «исторической памяти», «войнам памяти», «политике памяти», смене пропагандистских клише, «диктатуре юбилеев» и прочих способах обеспечения политического конформизма. Источниками

при этом служат пресса, телевизионные программы, учебники истории, официальные разъяснения идеологических акций.

Если говорить несколько схематично, дело сводится к противопоставлению национально-патриотического и либерально-демократического направлений. Большая часть авторов сборников, критически относясь к официальной версии исторической памяти, предлагает осуществление ее полного пересмотра, ибо, полагают они, «уважение к традициям предшествующих поколений – это прежде всего уважение к тоталитарным и авторитарным традициям, поскольку иных в истории России и СССР почти не было» (ИИ, с. 291). Другие, не разделяя этих представлений, сочувственно воспринимают идеи о возврате к «очищенному от деформаций» марксизму, о необходимости отказаться от «ограниченных» оценок сталинизма или советского проекта в целом, констатируя, впрочем, что для постановки этих проблем ими «еще не сформировано общей методологической базы» (ИИ, с. 489). Наконец, ряд авторов вообще справедливо сомневается в ценности понятия исторической памяти, обращая внимание на «ненадежность человеческой памяти» и «значительную роль исследователя» в ее интерпретации (ИИ, с. 455–456). Соответственно «политика памяти» – не более чем новое определение цензуры или пропаганды. Так называемые «войны памяти» – путь к манипулированию сознанием, но не вопрос содержательных научных дискуссий. Действительно, память основана на индивидуальном опыте, но опыт, тем более «коллективный» (если он вообще существует) – не знание и, следовательно, нуждается в полноценной научной верификации.

Существенное место в обеих книгах отводится моральной критике современного научного сообщества. Если ранее его единство и нравственная чистота находились под бдительным и жестким идеологическим контролем, то теперь оно столкнулось с новыми испытаниями: ими стали деньги, жажда массового успеха и близости к власти. Первый из этих факторов, по мнению некоторых авторов, имел особенно деструктивные следствия: «из властителей дум миллионов в эпоху перестройки и гласности» историки «превратились после краха СССР в категорию людей, которым приходится думать о физическом выживании». «Теперь, – жалуются они, – нравы историков становятся более циничными и более ориентированными на рыночный принцип «ты – мне, я – тебе» (НС, с. 321). Отсюда – деградация сообщества: «наиболее энергичные и талантливые из историков либо эмигрировали, либо подались в бизнес и другие более прибыльные сферы знания», стали «коммерческими историками», а «в собственно исторической науке в России остались, возможно, лишь немногочисленные фанатики, либо люди, не нашедшие лучшего применения своим знаниям и способностям» (НС, с. 322). Интересно, к какой категории относят себя авторы?

Фактор коммерциализации науки, квазимарксистская критика которого прослеживается во многих разделах рецензируемых книг, привел, по мнению их авторов, к превращению истории в товар, а историков – в торговцев «историческими интерпретациями», задача которых – выгодно продавать «образы прошлого» на рынке идей. В этом ключе интересны свидетельства тех историков-менеджеров, которые «худо-бедно, но обрели ниши в поглотившем все пространство нашего бытия рынке», «пообвыкли вертеться» (ИИ, с. 551), нашли «возможность курсировать между «административной» и «грантовой» формами воспроизводства знания» (НС, с. 301), научились «выполнять социальный заказ государства, фактически возвращаясь к роли пропагандистов, от которой отвыкли за годы перестройки» (НС, с. 321).

Эта деятельность облегчается размыванием стандартов и критериев научной работы: «Овладение новейшими теоретическими дискурсами, – отмечает один из авторов, – оказывается легким, а главное эффективным способом создания научных текстов и получения грантового финансирования – в ущерб работе с источниками, которая является залогом получения нового знания о прошлом». Практики подобных «историографических поворотов», вынужден признать он, «оказываются далеко не во всем адекватными» (НС, с. 252). Это, конечно, интересные свидетельства из эпохи нашего первоначального накопления, но трудно принять их критический пафос в отношении

научного сообщества, представители которого повсюду в мире выступают как люди свободных профессий, сознательно избравшие свой путь и связанные с ним интеллектуальные преимущества и ограничения. История – скорее призвание, чем профессия, интеллектуальная работа – роскошь, а не производственная обязанность, научное произведение – не товар, а ученый – не торговец воздухом «интерпретаций прошлого» или менеджер по распределению «грантового финансирования».

Другим фактором эрозии научного сообщества признается в сборниках деятельность, связанная с поиском массового успеха (в том числе коммерческого) или выполнением определенного социального заказа, представленного националистическими, псевдопатриотическими и откровенно ненаучными («сенсационными») попытками пересмотра устоявшихся научных положений. С одной стороны, отмечают авторы, «всеобщее признание давно уже не является не только необходимым, но даже желаемым» в научном сообществе (НС, с. 335), с другой – проявляется «стремление многих историков получить признание как среди широких масс, так и среди интеллектуалов, не относящихся к сообществу историков» (НС, с. 336). Наглядными примерами этой тенденции оказываются так называемые национальные историки, которые в своей критике имперских порядков «увязли в схватке за перекрой сталинского кафтана», «не могут договориться даже о содержании базовых категорий», оставаясь в плену понятий «советского обществоведения», а их попытки предложить собственную позитивную альтернативу существующим интерпретациям оборачиваются «генерацией текстов, вызывающих разве что улыбку» (НС, с. 184). Другой категорией подобного типа предстают авторы, стремящиеся с псевдопатриотических позиций использовать ностальгические настроения части общества и политическую конъюнктуру для апологии советской однопартийной диктатуры, сталинского террора, критики демократических реформ и современного конституционного строя. К этому направлению примыкают представители политической романтики самых разных идеологических оттенков. Третьей категорией в этом ряду выступают представители «блестящего дилетантизма», с легкостью опровергающие устоявшиеся научные положения и достигающие при этом массового коммерческого успеха. Согласимся, что эти тенденции ведут к маргинализации и депрофессионализации части научного сообщества, променявшей занятие наукой на обслуживание популистских настроений определенных слоев общества. Однако подлинная проблема заключается в ином – в неподготовленности общественного сознания к восприятию истории как строгой науки, оперирующей набором серьезных методов доказательной проверки выдвигаемых положений. Но это – не проблема научного сообщества.

Третьим фактором отчуждения исторического сообщества справедливо признается меняющееся отношение науки и политической власти, эволюционирующей в направлении авторитаризма. «Историческая политика российского руководства, – считают авторы, – окончательно фиксируется и жестко идеологизируется» (ИИ, с. 32). Власть рассматривает историю как «инструмент политики», включает навязанный курс на «позитивную идентичность» (ИИ, с. 10); «создание историографической ортодоксии», которая в свою очередь «влияет на политику памяти» (ИИ, с. 19). Власть, заявляют критики, «дала заказ на создание новой версии российской истории в рамках формирования национальной идеи» (НС, с. 272), не интересуется «ни положением в науке», «ни мнением ученых – даже по тем вопросам, которые находятся в их компетенции» (ИИ, с. 19), «вызывает к жизни химеры прошлого, чтобы представить свой неэффективный режим в выгодном свете» (ИИ, с. 133). Констатируется появление «подобия новой, востребованной властью ортодоксии в отечественной историографии», которую «историческое сообщество, при всей своей разнородности, явно не намерено принимать» (НС, с. 261).

Вся эта критика, справедливо отражая тревогу научного сообщества за сохранение интеллектуальной свободы, отторжение непродуманных политических проектов, в то же время предлагает мало содержательных инициатив для самого научного сообщества. Разве отчуждение научного сообщества от власти возникло только в пост-

советский период и существует исключительно в России? Объективный конфликт власти и науки существовал всегда; принятие стандартов политической демократии в обществе не означает, что они обязательно распространяются на науку (ведь сами авторы констатируют «авторитаризм классических школ» как одну из причин их неизбежного распада, см. НС, с. 373), и наоборот, политический авторитаризм не означает автоматического подавления науки (лучшие труды по истории России от Татищева до Ключевского были созданы при самодержавии). В этом смысле приспособление части научного сообщества к конъюнктурным целям политической власти или рынка с целью получения определенных выгод – также универсальный, а не чисто российский феномен, связанный с индивидуальным моральным выбором. Можно поэтому согласиться с утверждением одного из авторов, что «выступление историка в роли пропагандиста – дело его личной и профессиональной совести, и обвинять в этом государство несправедливо» (ИИ, с. 18).

Что предлагается для преодоления этих противоречий? Внимательно просмотрев оба тома для выяснения конструктивной программы авторов, я не обнаружил ее и не смог реконструировать по представленным материалам. Основных предложений, заслуживающих комментария, три: выстраивание новых отношений между сообществом и властью; создание системы научных коммуникаций и принятие этических стандартов поведения историков. «В России, – заявляют авторы, – нет работающей системы постоянного и эффективного диалога между властью и научным сообществом гуманитариев» (ИИ, с. 30). А где есть? Между кем такой диалог мог бы вестись? И как он мог бы выглядеть, если не иметь в виду официальные институты, едва ли полноценно представляющие научное сообщество? Неужели авторы всерьез полагают, что предлагаемое ими создание союза историков или их профсоюза – это решение вопроса? Ответов на поставленные вопросы нет и, скорее всего, быть не может: у научного сообщества и «власти» – совершенно разные задачи, «диалог» между ними (если речь не идет о нормальном функционировании демократических институтов) вообще не нужен, а сознание самой необходимости такого диалога есть признак неблагополучия, сохранения у части научного сообщества каких-то патриархально-советских традиций, усматривающих поиск «правды» во встречах царя с народом.

Второе предложение предполагает, что проблема заключается в «способах коммуникации и технологии власти в рамках профессионального сообщества», а ее решение – в трансформации журналов «как одной из наиболее мобильных форм профессиональной деятельности» (НС, с. 190). Это предложение вполне актуально в контексте реформ академического сообщества, если, конечно, рассматривать журналы как форму организации научной мысли и накопления научных знаний, а не как «пространство столкновения дискурсов». Третье предложение – «создание некоей Хартии историков, согласно которой все члены исторического цеха обязались бы соблюдать определенные этические правила, главное из которых, по-видимому, – «руководствоваться только ображениями поиска научной истины» (НС, с. 338–339). Это замечательно, но кто будет следить за чистотой принципов и их исполнением? Должен ли профессиональный историк брать на себя функции моралиста и судьи (ИИ, с. 12)?

В рецензируемых книгах четко показаны точки напряжения внутри самого сообщества, связанные как с вопросами общей когнитивной ориентации, так и с решением профессиональных задач – отношениями академической и вузовской науки, центральных и региональных институтов, характером коммуникаций, социальной и междисциплинарной мобильности в научной сфере. Они иллюстрируют противоречия коллективного самосознания, трудности индивидуального исследовательского выбора, пространство личной свободы и рамки самоцензуры. Однако авторы не избежали влияния тех тенденций в развитии сообщества, которые сами же констатировали в процессе его анализа: им свойственна методологическая неопределенность, различие представлений о масштабах, структуре и функциях научного сообщества, целях его существования и способах их достижения. Сильные в критике существующих порядков, они не выстроили аргументированной концепции реформы науки и сообщества. Сделанные

ими рекомендации кажутся поэтому слишком абстрактными и спорными, а стремление к поучению – излишне назидательным и наивным. В целом рецензируемые книги отражают незавершенность формирования научного профессионального сообщества историков, его разделение и продолжающийся поиск собственной идентичности, связанный с самоопределением в отношении новых идей, вызовов и ценностей.

Говоря о сообществе и его нравах, авторы как будто забывают, что историческая наука – не массовое коллективное производство, что результаты ее добываются прежде всего индивидуальным трудом. Смысл принадлежности к научному сообществу, вопреки некоторым авторам – в строительстве не нового Вавилона, но империи Разума, основанной на твердом фундаменте доказательного знания.

**А.Н. Медушевский, доктор философских наук
(Институт российской истории РАН)**

«Есть какое-то опьянение в занятиях наукой»*

Появление фундаментального исследования, посвященного выдающемуся историку, академику Милице Васильевне Нечкиной (1901–1985), не может пройти незамеченным. Фигура этой исследовательницы настолько масштабна, что без изучения ее жизни и творчества невозможно понять развитие отечественной историографии. Милица Васильевна находилась в центре советской исторической науки на протяжении многих десятилетий: она являлась автором фундаментальных, ставших уже классическими, трудов, руководила множеством крупных исследовательских проектов, общалась с виднейшими учеными своей эпохи, на себе ощутила все перипетии непростой судьбы науки в XX в.

Авторы-составители выбрали жанр документальной монографии не случайно. Несмотря на серию важных публикаций документального наследия историка, в архивах остается немало источников, позволяющих по-новому взглянуть на роль Нечкиной в исторической науке. Основой книги стали материалы ее личного фонда, хранящиеся в Архиве РАН (ф. 1820). Они удачно были дополнены документами из фондов коллег Нечкиной, републикациями важных, но несколько подзабытых ее печатных работ.

Объем проделанной работы впечатляет. В проекте приняли участие 23 автора-составителя, каждый из которых внес заметный вклад в общее дело. Книга позволяет на основе первоисточников представить творческую эволюцию ученого, почувствовать не только «историю в человеке», но и человека в истории. Подавляющее большинство публикаций снабжено вступительными статьями и обстоятельными комментариями. Особенно хотелось бы выделить исследовательские этюды И.Л. Беленького.

Книга открывается публикацией выдержек из первой монографии Милицы Васильевны «Русская история в освещении экономического материализма (историографический очерк)» (Казань, 1922). Ее недоброжелатели неоднократно поднимали на щит этот дебютный научно-исследовательский опыт как свидетельство методологических ошибок. Как следствие, автор не любила вспоминать об этой книге. А зря. Современного историографа может поразить то, насколько актуальны предложенные ею методологические подходы к историографическому исследованию не только в контексте той эпохи, но и сейчас. Особенно перспективной представляется мысль об изучении истории исторической мысли «с психологической точки зрения» (с. 38), когда в центре исследования должны оказаться интеллектуальные и личностные контакты между историками. Неизвестные страницы историографических трудов Нечкиной открывает публикация ее доклада о Л.Д. Троцком. Большое значение для реконструкции процесса

* «История в человеке» – академик М.В. Нечкина. Документальная монография / Под ред. Е.Л. Рудницкой, С.В. Мироненко. М.: Новый хронограф, 2011. 1108 с.